



Татьяна Грибанова



Грибанова

Настёнкины
«антаркти»



Быличка

Художник - Юлия Тютюнова

Орёл - 2019

Грибанова Татьяна

Г 82 Настёнины «антарки» / Быличка. – Орёл: изд-во «Картуш», 2019. – 44 с.

«Настёнины антарки» - одиннадцатая книга орловского писателя, члена СПР Татьяны Грибановой. В отличие от других, книга эта состоит всего лишь из одной единственной былички, что не характерно для автора. Предворяет повествование статья Марины Масловой «Оберег души живой», послесловием служат комментарии писателей из разных уголков России на это произведение, опубликованное ранее на сайте «Российский писатель».

Автору же остается добавить к своему рассказу лишь следующее. Любовь бессмертна – не моё открытие. Не может она ни за что ни про что сгинуть даже в такой покинутой деревушке, а потому и летит к людям горlinka, туда, где ещё теплится жизнь, несёт Настёнины «антарки» в надежде, что кто-то их сыщёт. Коли парень - подарит своей ненаглядной, коли девушка - примерит, и «вызреет меж ними любовь нешутошная». И народятся детки, а у деток - свои детки.

И жить России вечно. И не будет этой сказочной истории, как мне кажется, конца, покуда живёт человечество.

УДК 82-1
ББК 84(2p)6

© Грибанова Т.И., 2019
© Художник: Ю.Тютюнова, 2019

Оберег для вечной любви:

о быличке Т.И. Грибановой «Настёнины “антарки”»

Века протекали чередой, красота же моя не вяла.
Т. Грибанова
«Настёнины “антарки”»

*Ах, если бы могло быть наоборот!
Если бы старел этот портрет,
а я навсегда остался молодым!*

О. Уайльд
«Портрет Дориана Грея»



Раз уж «Настёнины «антарки» означены автором как быличка, следует сказать несколько слов о том, что это такое.

Быличка – разновидность мифологического, или демонологического, рассказа. Братья Борис и Юрий Соколовы в «Сказках и песнях Белозерского края» указывают, что слово это обычно прилагается к «небольшим рассказам о леших, домовых, чертях и чертовках, полувериях, колдунах – одним словом, о представителях тёмной, нечистой силы» (М., 1915, с.58).

Сегодня исследователи фольклорных жанров уточняют: «В быличках языческие представления соединены с христианскими. Сюжеты быличек строятся на стремлении демонического существа причинить человеку вред... Вместе с тем демоны могут быть нейтральными к человеку и даже помогать ему... Демоны появляются неожиданно в «нечистое» пограничное время года или суток – на Святки, в купальскую ночь, в полдень, в полночь, перед рассветом, после заката солнца;



в пустынных и опасных местах (пустоши, лесные дебри, болота, перекрёстки безлюдных дорог и др.). Промежуточное положение между демонами и людьми занимают ведьмы и колдуны, умеющие по собственной воле вступать в контакт с нечистой силой. Народные демонологические рассказы нашли отражение в художественной литературе» (Зуева Т.В.).

У Татьяны Грибановой почти все условия бытования жанра былички соблюдены: умерла Настёна в ночь под Ивана Купалу, что гарантирует её переход в «пограничное» состояние между демоном и человеком. При этом уже изначально её причастность к «инобытию» обуславливалась обладанием волшебными серьгами из янтаря («антарками»), дарующими вечную молодость и красоту своей обладательнице. Наконец, и факт этой причастности объясняется биографическим эпизодом «отпадения» от Бога, утраты связи с христианской традицией по причине смертной тоски, невыносимой настолько, что героиня преступает черту смирения и впадает в смертный грех отчаяния, внешне выразившийся в попытке самоубийства. Именно у этой пограничной черты, между жизнью и смертью, на краю глубокого омута и возникает рядом с Настёной некий посланец иного мира, таинственная «баушка».

«Ну, так вот, значит, уж и совсем, было, помрачилась я умом после Прошенькиной смерти... под Успенье, возвратясь от обедни – уж я толковала, толковала в церкви с Боженькой, уж просила-молила понять, простить меня грешницу, – не доходя до избы, повернула на омут. Уж и камушек верёвочкой сермяжной обвязала, уж и на крут бережок взошла, один-разъединый шажочек осталось ступить, сигану, думаю, и – конец моим мучениям. Но тут, откуда ни возмись, раздвигаются кусты краснотала, и заступает мне тот крайний шажок старая старушонка. Пригляделась: что за диво? Вовек в нашей округе таковой не видывала. А она – хватать за камушек, да меня – в охапку...»

По канонической христианской традиции, в момент готовности к суициду человеку обычно является посланец тёмных сил, зовущий и подталкивающий омрачённую отчаяньем душу к краю бездны небытия. Фольклорная традиция эти нюансы смягчает, присваивая запредельным гонцам весьма доброжелательные по отношению к человеку мотивы. Тем более, если импульсом к самоубийству служит какая-нибудь «уважительная» (с культурной – но не духовной – точки зрения) причина.

Настёна оплакивала погибшего возлюбленного и протестовала против нежеланного замужества. В народно-поэтической традиции это всегда благородный мотив для протеста.

«А горемышная девица, хоть и знала, что грех неотмолимый, а только невыносимо тошен стал ей белый свет, дак она, горлинка, и в моток сига-ла, и всякими другими-разными приспособленьями пыталась лишить себя

растреклятой своей жистюшки. Но, как говорится: кому утопиться, тот не повесится. Знать, была Настёнка у Господа за любовь свою неизбывную на каком-то особливом счету, не дозволил Он с девицей смертной смертушке приключиться».

Поэтому загадочная «баушка», ниоткуда возникшая и в никуда исчезающая, спасает Настёну не только от самоубийства, но даже и от могущих случиться впредь посягательств на её девичью честь. Как только вдевает Настёна серьги в уши, уже никто не может прикоснуться к ней без её воли и желания, пока она сама не встретит «суженого», с которым захочет соединить свою жизнь. При этом янтарное украшение гарантировало и вечную молодость, вечный расцвет врождённой, природной Настёниной красоты. Абсолютно очевидна здесь функция оберега. И в православную систему воззрений этот предмет вряд ли вписывается. Так что Настёна, надевая «антарки», оказывается в пограничном состоянии между мирами, не на земле (где все смертны) и не на небе (где чистая духовность). Ношение амулета (оберега) делает её духовно зависимой от неких таинственных духовных сил, природы которых она не знает. Потому христианская вероисповедная традиция здесь существенно редуцируется, что, в общем-то, абсолютно естественно для фольклора. И потому рассматривать образ Настёны в категориях канонического христианства уже не вполне корректно. То есть нет нужды говорить о «духовной смерти», «продаже души дьяволу» и прочем. Этот художественный образ подчиняется законам того литературного жанра, в котором он создан, и по этим законам его можно «судить».

Для чего Настёне нужен был оберег? Хранить и оберегать её чувство любви от посягательств внешнего мира.

Что дал ей этот оберег? Опыт долгой земной жизни дал ей понимание того, что любовь «нешутошная» ей уже была дана, и оказалась она «одной-разъединой», не повторяющейся.

Казалось бы, зачем её жить на земле, если возлюбленный Прошенька там, за земным пределом? Лучше соединиться с ним, уйдя из земного бытия. Она это и хотела сделать. Добровольно, самочинно, бунтарски. Против воли Давшего ей жизнь.

Кто удерживает её у края омута? Какого свойства эта сила? Кто послал этого сверхъестественного гонца? Фольклорный жанр даёт здесь смутные, неопределённые очертания, свидетельствующие о «потусторонности», но не акцентирующие полюс духовности. И хотя на Ангела-хранителя странная старушка не весьма похожа, всё-таки однозначно отнести её к «нечистому» полюсу нельзя. Хотя бы потому, что в православной агиографии нередко встречается образ странного старичка, помогающего заблудшим и впоследствии узнаваемого на какой-нибудь иконе в облике святого.





А поскольку быличка не обязательно повествует о встрече с демоническим существом, но обязательно о событии сверхъестественном, то это сверхъестественное вполне может быть вписано и в контекст взаимодействия сил высшей и низшей духовности, из коих одни пугают человека, другие помогают ему. Так что допустим, что Настёна была подвергнута духовному испытанию посредством получения неких магических способностей, заключённых в конкретном предмете (серьгах), и, между прочим, испытание выдержала...

Ведь смысл у дарованного ей оберега был не «шкурный», не для земного благополучия он давался Настёне. Иначе бы обещанные «баушкой» земные блага Настёна получила сполна: и суженого встретила бы, и деточек родила, и внучков вынянчила. Но ничего этого не произошло. Для чего тогда обещалось ей всё это? «из текста взять пример слов старушки...»

Вечная земная молодость и красота, сберегаемые «антарками», в итоге смысле оказываются лишь воспитательной мерой для человека, вовсе не обеспечивая ему счастье и удовлетворение обрётённым.

«Помыкавшись» на «этом свете» без своей «распропащей любви», Настёна осознаёт неизбежность принятия своей судьбы (если угодно, своего креста), неотвратимость Божией данности. Устав «маяться без своей половиночки», она отказывается от оберега, принимая уже смиренно свою обречённость на единственность «настоящей любви». Сколько бы времени ни жила она на свете, оставаясь молодой и соблазнительной для других, сердце её уже никого не могло впустить в себя, кроме когда-то уже впущенного туда Прошеньки. И ведь она даже сама об этом не сразу догадалась, надеясь на чудодейственные «антарки». Ведь пообещала же таинственная «баушка»: «Пока антарки будут при тебе, будешь ты хозяйкой своей судьбы и никто и никогда не выдаст тебя за нелюбимого. Несчётные годы будут опадать, как листва по осени, а ты будешь всегда оставаться красивой и молодой. А жить на этом свете будешь до тех пор, покуда не сыщешь для себя человека по сердцу, пока не родишь от него деток, пока не вынянчишь от них внуков...»

Ведь не усомнилась же Настёна в этой гарантированной ей «антарками» позитивнейшей жизненной программе, охотно приняла её: «Века протекали чередой, красота же моя не вяла...»

Но что-то не «срабатывало» до конца, не открывалось сердце для другой любви, хотя и обещала ей эта любовь и счастье материнства, и ласку внуков. Такая вот странная была духовная «амбивалентность» оберега: хочешь быть счастливой на земле – забудь о том, кто был дан тебе для вечности. Но Настёна забыть не сумела...

«Помыкалась я, помыкалась на этом свете, всё пыталась сыскать своего суженого. Только, знать, один-разъединый разочек даётся человеку на-



стоящая любовь. Остальное всё так, прилюбочки. Я-то ведь после Прошеньки и взглянуть ни на кого другого так и не взглянула... А как разуверилась в своих поисках окончательно, как поняла, что никогда уже не встретить мне свою распропащую любовь, устала я маяться без своей половиночки, вынула из ушей баушкины «антарки» да за ненадобностью и запрятала их на самое донце сундука».

Выходит, оберег не счастье ей гарантировал, а «разуверение» в нём, понимание его невозможности, этого земного счастья, если сердце человеческое уже причастно благодати вечной Любви...

Как в рассказе М.Н. Еськова «Наречённая» героиня после одного Мишкиного поцелуя уже навсегда осталась «нетронутой», не имея в сердце призыва искать замену неразделённой первой любви, так и Настёна, чьё сердце однажды ёкнуло при виде пастуха Прохора, уже не могла заставить его ёкнуть во второй раз.

Однако преодолеть первоначальное отчаяние героине было непросто. Автору понадобилось тонкое соединение волшебных мотивов былички с едва угадываемой концепцией христианского смирения, вводимой в контекст повествования через такой художественный образ, в котором не сразу различишь намёк на терновый венец. Однако...

«– Это что ж ты, такая-разэдакая, удумала? – бранится бабка, а сама – боком-боком оттирает меня подале от крутояра.

– Ох, и не вмоготу мне, баушка, опостылел белый свет, пусти свершить, что уздумала, – Христом Богом прошу я старуху, а сама рвусь-кидаюсь к обрыву.

Никак ей, маленькой-горбатенькой, не справиться со мной. Вынула она тогда из своих когда-то жуковых, а теперь уже осыпанных густым инеем волос частый терновый гребень и, не спросясь, воткнула его чуть повыше моего накосяка. Тут я, на удивление, вырваться-биться перестала...»

Деревянный или костяной гребень в волшебной сказке мог быть атрибутом ведьмы, злой колдуньи. В языческих заговорах гребень был амулетом, сохраняющим красоту. «Магия гребня» – и сегодня тема бесчисленных спекулятивно-мистических публикаций интернета.

Татьяне Грибановой удалось найти такой образ, который, сохраняя всю волшебную атрибутику фольклорного сказа, одновременно создаст новый уровень, незримый метатекст, где героиня будет действовать уже в пространстве духовной реальности, осеняемой Крестом...

...А ведь не случайно, быть может, и то, что строки эти пишутся на Крестопоклонной неделе...

Итак, «частый терновый гребень» вместо венца невесты получает Настёна от своей старушки-«спасительницы». И этот прообраз тернового венца уже навсегда оградит её девичье «сердечушко» от любых посягательств: «...



а как маленько поутихла, всю беду-горе спасительнице своей и выплакала: так, мол, и так, нет мне жисти, родная, теперя без Прошеньки, истерзалось сердечушко от одной мысли, что пойду под венец с разнелюбым». И не пошла уже никогда...

Подаренные ей затем старушкой серьги-обереги уже ничего не могли изменить в её судьбе. Они могли только сохранить её молодость. Смирившись под терновым венцом, Настёна отныне стала земным воплощением нетленной девичьей красоты, ожидающей «суженого».

И так же, как Мария Пчёлкина в рассказе Михаила Еськова невольно стала невестой Небесного Жениха, уйдя из жизни безбрачной, Настёна тоже не стерпела нетленной своей молодости на земле, предпочитая вечное девство в небе.

Поскольку изначально быличка – жанр устного народного творчества, следует оговориться, что произведение Татьяны Грибановой скорее стилизовано под быличку, по сути являясь рассказом-притчей о вечной любви.

Тем не менее, об основных стилистических и функциональных признаках былички нам здесь следует вспомнить, чтобы продолжить разговор о произведении современного «постфольклора».

Исследователь жанра былички Е.Е. Левкиевская пишет: «Быличка как законченный текст в её «классическом» виде представляет собой двучленное высказывание, полнота и законченность которого в равной степени создаются и говорящим, и слушающим». «Двучленность былички заключается, прежде всего, в том, что на говорящем лежит функция рассказывания типологически адекватного повествования, своего рода – «картинки», соответствующей той или иной семантической модели, известной в данной традиции... Однако обязанность «отождествить» представленную «картинку» с возможным именем-идентификатором лежит отнюдь не на рассказчике (как думают многие наши фольклористы), а на слушателе...»

Быличка как жанр фольклора обязательно предполагает слушателя, собеседника, способного участвовать в диалоге. Этим былички отличаются от сказок (Зиновьев В.П.)

Понятно, что если мы имеем дело с записанным (или сочинённым) текстом былички, как у Татьяны Грибановой, то речь надо вести о читателе-собеседнике.

«Историю для того и рассказывают, чтобы собеседник отреагировал на неё и сам объяснил или объявил рассказчику, «что это было», а в качестве доказательства своего понимания привёл аналогичный пример – ещё один рассказ. Состояние удивления или недоумения, с которым сам потер-

певший/рассказчик повествует о произошедшем событии, заставляет его на вопрос «А что это было?» отвечать: «А Бог его знает». ...Это позволяет предположить, что в традиционном бытовании былички пояснения подобного типа не входят в функции рассказчика. ...По сути, он, наоборот, ждёт, что слушатель вступит в диалог и сам назовёт имя мифологического персонажа или расскажет свою «встречную» историю, тем самым приведя структуру общения в равновесие...» (Мигунова Е.А.)

Таким образом, мы имеем все основания запросто вступать в «диалог» с автором, дополнять его, пояснять и даже предлагать «свою историю», то есть своё понимание услышанного/прочитанного. При этом главной функцией такого «диалога» является не фактическое уточнение авторского рассказа, а культурное взаимодействие, эмоциональное общение.

Фольклористы отмечают «важность эмоционального переживания в ситуации рассказывания былички». «Эмоциональная функция в «классической» ситуации бытования былички... является первостепенной»

Обязательным «обрамлением» былички является своеобразная «эмоциональная аура, которая является «продуктом» рассказа о мистическом событии»...

«Совместное переживание эмоций (страха) в процессе общения можно рассматривать как самостоятельную (если не основную) цель рассказывания былички».

Фольклористы рассматривают быличку не только как речевой жанр, но и как текст, содержащий «социально важное знание о мире», былички «воспроизводят жизненный и социальный опыт», «в них отражается процесс познания и классификации мира». Для былички «важно, что это – рассказ о личной форме познания «иномирного», индивидуально переживаемом опыте такого контакта». «В основе былички всегда лежит личностное «Я», которое познаёт, оценивает и интерпретирует происходящие с ним события», «мир былички – это мир, увиденный глазами одного человека с его личным жизненным опытом и человеческим восприятием этого мира (безусловно, что этот личный опыт вписан в рамки той традиции, к которой принадлежит эта личность)». Информация в быличке «выражается не в виде готового суждения, а в виде «картинки», содержащей набор концептуальных свойств, «неотчуждаемых» признаков мифологического явления, которые собеседник воспринимает и интерпретирует» (Левкиевская Е.Е.).

Таким образом, читатель текста былички выступает в качестве «собеседника», интерпретирующего мифологическое явление, данное писателем в виде «картинки».

А поскольку «в основе личного познания мира всегда лежит эмоция», учёные особо подчёркивают «личностную позицию» былички с её «высоким уровнем познания», «переживания» страшного (мистических явлений).





Эмоция в быличке «работает» как тот механизм, «через который первичное восприятие мифологических событий передаётся на уровень умозаключений и подвергается интерпретации».

«Эмоция необходима не только для того, чтобы воспринимать и познавать мир, но и для того, чтобы помнить и передавать это знание».

По мнению учёных, «на поздних этапах существования мифологической системы у былички развивается... функция ...эстетическая... художественная» (Виноградова Л.Н.)

Оскар Уайльд в своём романе воспитания, напоминающем моральную притчу, вкладывает в уста своего героя размышление о том, что у человека «есть предки не только в роду: они у него есть и в литературе».

Когда читаешь занимательную и в то же время глубокомысленную быличку Татьяны Грибановой, где описывается чудесный портрет героини, почему-то вспоминаешь в первую очередь именно «Портрет Дориана Грея», хотя методологически, типологически, идейно и ещё как бы то ни было связать эти, на первый взгляд, наиразличнейшие по жанру произведения кажется почти невозможным. Однако это, действительно, на первый взгляд.

Почти случайное тематическое созвучие с упомянутым произведением, возникающее в тексте Татьяны Грибановой при описании портрета Настёны, начинает неотступно тревожить мысль какой-то неявной, но обещающей раскрыться при внимательном к ней отношении, идеей, способной объединить современную быличку и с «Портретом Дориана Грея» О. Уайльда, и с «Портретом» Н.В. Гоголя, и ещё с множеством литературных произведений, где присутствует мотив «живого портрета».

Диапазон реализации этого мотива в литературе настолько широк, что включение его в быличку Т.Грибановой кажется даже несколько рискованным. Ведь в большинстве литературных текстов он несёт в себе сложнейшую систему антропологических, онтологических, эстетических и других смыслов. Достаточно вспомнить несколько произведений, чтобы наглядно убедиться в этом. Насыщенные антропологической проблематикой роман Ч. Метьюрина «Мельмот Скиталец» и повесть Ю.М. Лермонтова «Штосс», онтологически мотивированная новелла Э. По «Овальный портрет» и новеллы Э.Т.А. Гофмана «Артусова зала» и «Церковь иезуитов», претендующая на разрешение многих эстетико-философских проблем повесть Н.В. Гоголя «Портрет». А ещё повесть К.С. Аксакова «Вальтер Эйзенберг» и новеллы О. Бальзака «Неведомый шедевр» и В. Ирвинга «Таинственный портрет». И это, пожалуй, только часть мирового литературного контекста, отразившего интерес писателей к мотиву «живого портрета».



Чтобы не посвящать этой теме целое исследование, сразу уточним, что в рассказе-быличке Татьяны Грибановой портрет Настёны тоже «живой», однако никаких эстетико-философских, религиозно-нравственных и каких бы то ни было других категорий этот мотив не касается. Просто он нужен был автору для создания атмосферы чудесного при стилизации литературного произведения под фольклор. Поверхностное созвучие возникает из-за того, что портреты во многих названных выше произведениях кажутся живыми, изображённые на них люди неотступно следят за тем, кто смотрит на холст из земной реальности. Так же «ведёт себя» и портрет Настёны в её хате. «Куда бы ни отступились мы от портрета, Настёна вослед нам устремляла свои пылающие глаза, стараясь не упускать нас из виду ни на минуту». Невозможно не вспомнить тут «пронзительно сверкающие» глаза портрета в повести Лермонтова «Штосс». В романе Оскара Уайльда «живым» оказывается не только портрет Дориана Грея, но и портрет его матери, которым любуется герой: «Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шёл». Гоголевский Чартков тоже пугается глаз на портрете, которые, как ему кажется, пристально следят за ним. Настёна у Грибановой вообще разговаривает с портрета со своими незванными гостями, хотя голос, конечно, слышится как бы ниоткуда.

Сходство ощущений и восприятий вполне можно усмотреть даже и в эпизодах, где описывается комната, в которой хранится портрет. Вот эпизод из романа Уайльда: «Холлуорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Вылинявший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да ещё стол и стул – вот и всё, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Холлуорд успел заметить, что всё здесь покрыто густой пылью, а ковёр дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени».

А вот фрагмент из «Настёниных «антарок»: «Изъеденные временем, густо устланные мхом, крылечные половицы чуть дышали. Распахнули мысенные двери... Пуки трав, берёзовые и дубовые веники, рядками развешенные вдоль проконопаченных паклей стен, изумрудились от плесени. ...Как только луч света забрызгал по стенам низенькой горницы... местная шустрая нечисть – армады мышей и разномастных козюков – ринулась в панике во все стороны, с истошным писком зашныряла под ногами... (...) мы пообвыклись и с немалым любопытством при тусклом свете лампы принялись осматриваться. ...на полгорницы с чугунами-ухватами печка, напротив – Божья долонь – повидавший виды дубовый стол. Несколько покрытых густым



слоем пыли табуреток, да под окнами – такие же чумазые, с порушенными мышами-молью домоткаными полавочниками, скамьи...

...На довольно большом полотне – пять вершков в ширину, пять в высоту, – что примостилось меж лицевых окон на заплесневелой, с осыпавшейся штукатуркой стене, под расшитым дробненьким крестиком полотенцем неожиданно совершенно явственно просматривалась моложавая женщина незаурядной красоты...

Думается, сама Татьяна Грибанова не то что не мыслила о подобных «странных сближениях», а даже, надо полагать, и попыталась бы категорически уклониться, если б заподозрила таковые, нечаянно вспомнив содержание романа-притчи О.Уайльда. Ведь Дориан Грей – человек «с осквернённым воображением и бунтующей душой». И даже более страшную характеристику даёт автор своему герою: это «мёртвая душа в живом теле».

Мы же, напротив, сочтём удачной находкой это нечаянное «родство» Дориана Грея с персонажами «Мёртвых душ», тем самым уверяясь в некой подспудной идейной родственности произведений английской и русской классики с наисовременнейшим литературным текстом, жанровое обозначение которого обязывает нас относить его к фольклору.

В самом обобщенном и одновременно сжатом виде связь русской былички с английским романом воспитания можно доказать способом «от противного»: там герой наслаждается мистической своей молодостью и тем продаёт душу дьяволу, Настёна же, получив оберег для сохранения вечной молодости, не пленилась им навсегда, но, не найдя своего «суженого» на земле, отказалась от земного бессмертия и сняла талисман. Дориан Грей погубил свою душу, Настёна спасла свою. Адресуясь к высказыванию героя Уайльда о том, что «каждый из нас носит в себе и ад и небо», предположим, что Дориан унаследовал ад, а Настёна – небо.

Может быть, кто-то скажет: не пристало такой лёгкий фольклорный жанр, как быличка, нагружать высокими духовными смыслами. На что хочется возразить: неважно, как всё это было автором названо, гораздо полезнее наблюдать, как в итоге это «сработало». Как заметил тот же Уайльд, «кто раскрывает символ, идёт на риск»; потому рискованными кажутся и подобные сопоставления, основанные всего лишь на таких символических деталях, как портрет (воплощение души героя) и серьги-оберег (гарантия вечной молодости). Однако по факту наличия смыслового параллелизма в содержании обоих символов вряд ли можно возразить.

«Он всё сильнее влюблялся в собственную красоту и всё с большим интересом наблюдал разложение своей души»; «С портрета на Дориана Грея смотрела его собственная душа и призывала его к ответу» (О.Уайльд).



В быличке не портрет гарантирует молодость (он только отражает её), а серьги из янтаря («антарки»), но оба предмета тесно связаны, неотделимы друг от друга, как причина и следствие. Поскольку «антарки» являются волшебным талисманом, сохраняющим молодость и красоту, изображенная в них на портрете женщина выглядит живой, и портрет этот выступает в произведении также предметом мистическим.

«Прозеленилось полотенце, изничтожилась рама, но лицо красавицы... не только не облиняло, не покорибилось временем, наоборот! – из-за её пронзительного взгляда казалось живым. (...) Её пронзительный взгляд манил и притягивал, правда, в то же время какой-то пронизывающе-холодный блеск его заставлял отступить как можно дальше. И ещё! Что за чертовщина? Хозяйка избы безотрывно следила за нашими перемещениями вдоль избы. Куда бы ни отступились мы от портрета, Настёна вослед нам устремляла свои пылающие глаза, стараясь не упустить нас из виду ни на минуту».

Несмотря на создаваемую автором атмосферу присутствия «чертовщинки» в этом эпизоде, Настёна в дальнейшем повествовании не вызывает мысли о своей причастности к тёмным силам. Волшебный оберег она сняла добровольно, предпочитая стать «простой смертной» и умереть от старости по естественному закону земных вещей. Этим она и спасла свою душу, вернув её в лоно зависимости от Творца. Этим она и отличается от Дориана Грея, невольно давая ответ на его самооправдательное вопрошание: «Разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила?»

Настёна, отказавшаяся от волшебства, отвечает: «да».

И наконец, бегло заметим, что тема настоящей любви по-разному реализуется в интересующих нас произведениях. У Оскара Уайльда Сибила Вэйн после одного только поцелуя Дориана Грея страстно влюбляется в него, и кончает жизнь самоубийством, когда он оскорбляет и оставляет её. Тот же выход в смерть, как, скажем, и у Шекспира в «Ромео и Джульетте», объяснимый романтической традицией. Причём именно с этого первого предательства любви начинается и страшное падение Дориана Грея.

Русский фольклорный идеализм Татьяны Грибановой выводит её героиню на уровень принятия судьбы и хранения верности первой любви без гарантии земного счастья. При этом уже неважно, что вначале было много сказочного волшебства, чертовщинки, и глаза на портрете дьявольски «пылали», а сама Настёна «чётко-чётко, будто и впрямь стояла напротив», требовала непрощенных гостей не трогать её трёхсотлетние «антарки». А потом ещё и сама порушила свою триста лет «нетленную» избу...



Всё равно Настёна, по замыслу автора и пониманию читателя, наследует ореол мученичества и святости благодаря верности своей «одной-разъединой» «нешутошной» любви.

«Любовь бессмертна – не моё открытие, – говорит Татьяна Грибанова. – Не может она ни за что ни про что сгинуть даже в такой покинутой деревушке, а потому и летит к людям горlinkа, туда, где ещё теплится жизнь, несёт Настёнины «антарки» в надежде, что кто-то их сыщёт. Коли парень – подарит своей ненаглядной, коли девушка – примерит, и «вызреет меж ними любовь нешутошная». И народятся детки, а у деток – свои детки. И жить России вечно. И нет этой сказочной истории конца, покуда живёт человечество»!

Да, пусть живёт Россия вечно.

И пусть эти лёгкие словесные кружева современных русских писателей иногда соприкасаются в нашем сердце с молитвой...

*13 марта 2018 года
память преподобных
Марины и Киры Берийских*

Некоторые источники:

- Баль В.Ю. Мотив «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Портрет»: текст и контекст // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 323.

- Виноградова Л.Н. Былички и демонологические поверья: границы фольклорного текста // Живая старина. – 2004. – №1. – С.10-14.

- Зиновьев В.П. Жанровые особенности быличек. Иркутск, 1974.

- Зуева Т.В. Быличка // <http://knowledge.su/b/bylichka>

- Левкиевская Е.Е. Быличка как речевой жанр. <http://www.ruthenia.ru/folklor/levkievskaya5.htm>

- Мигунова Е.А. К вопросу о функции мифологического рассказа // Традиционные модели в фольклоре, литературе, искусстве. СПб., 2002.

Настёнкины "антарки"





Грешна, ей Богу, грешна! Каюсь: повязало меня по рукам – по ногам одно пристрастие. И чувствуется мне: влипну я из-за него в какую-нибудь разисторию. Судя по недавним событиям, всё прямиком к этому и идёт.

Дело в том, что нашла я за свою жизнь по разным чердакам-чуланам немалую кучу всяческой древней всячины: утюги, прялки, скалки, самовары, кринки, поварёшки, ручки, лампы... Всего и не перечесть. Знаю, как любой заядлый собиратель, остановиться теперь уже вовек не остановлюсь. Прямо напасть какая-то на меня навалилась. Вот и этим летом подвернулся мне случай случай.

Почитай, годков эдак с пять, как опустела у нас на хуторе Настёнина хата. Помнится, преставилась баба в ночь под Ивана Купалу. Чин чином спровадили её соседи на погост, кто пожалковал, а кто и не очень. Помянули, конечно, расставив на её подворье столы, не без этого.

Может, потому, что наследство у Настёны невеликое – вросшая в землю хатёнка да саманный сарайчик, ни родичей, ни мало-мальски близких у бабы не оказалось. Сыскали горбыль – до лесу-то шаг ступить, как не сыскать? – заколотили им крест-накрест двери-окна, и Настёны как вовсе не бывало.

И стала я примечать: засиротевшая хата с каждым годом всё лишь приседает в лопушняк. Нынешним летом дошло уже до того, что пронырливый репей пролез сквозь проевшиеся крылечные половицы и пустился в цвет, а вдоль крыши, меж обвалившихся стропил, ему вдогонку выколосился дурнопьян.

Вот и надумалось мне как-то наведаться в эту дремь. Боязно, но будто бы кто подталкивает, так и нащёптывает, нащёпты-



вает на ушко: «Чем чёрт не шутит? Вдруг сыщется в Настёнкиной хате то, чего вовек тебе нигде и никогда не раздобыть?» «Ну и ладно, – порешила, – так тому и быть, только на всякий пожарный надо бы хоть дочку с собой прихватить, всё не так боязно».

Уболтала её на часок отодвинуть холсты-краски: мол, века нашенские доли да угоры вокруг хутора недвижимо возлежали. Куда за это малое время сдвинутся? Хоть и не дюже резво, а всё-таки сманилась моя художница, ведь и сама до старины охоча.

Пришли, значит. Подворье от калитки до крыльца – в чертополохах выше головы. Идём гуськом, я – впереди, прокладывая палкой наотмашь стёжку, позади меня, вспискивая и шараясь от крапивы, – дочка Анюта.

С горем пополам отодрали горбыль. Изъеденные временем, густо устланные мхом, крылечные половицы чуть дышали. Распахнули мы сенные двери, кое-как, согнувшись в три погибели, пробрались в их пропахшую прогорклой сыростью сутемнь. Свет из единственного окошка перекрывал куст задичалого тёрна. На корявых ветках его, пролезших сквозь расколотые шибки окна, от пронырливого сквозняка покачивались седые бороды пыльной паутины.

Пуки трав, берёзовые и дубовые веники, рядками развешенные вдоль проконопаченных паклей стен, изумудились от плесени.

– Слава Богу! – возрадовались я, – прихватили отцовский фонарь. Без него в этой халупе и шагу не сделать.

– Давай-ка, пока не поздно, назад, – запротивилась было дочка, пусть в чулане у тётки Насти хоть кудеяровский клад запрятан, чует моё сердце: не к добру мы сюда завернули.



Как только луч света забрызгал по стенам низенькой горницы – оконца вровень с землёй, могила, да и только! – местная шустрая нечисть – армады мышей и разномастных козявок – ринулась в панике во все стороны, с истошным писком зашныряла под ногами, разбегаясь по щелям и норам. Ослепнув и потерявшись от резанувшего поверху света, отвратительно зашвистела и, задевая нас крылами, в дальний угол, в самую глухую глушь, рванулась пара летучих мышей.

– Где там у нас лампа? – ободряюще чиркнула я спичками и, подхватив из дочериних рук керосинку, установила её на пыльной столешнице. Аня, с малых лет шарахавшаяся от любой повстречавшейся блошки, казалось, оцепенела, и мне, подбившей её на эту жуть, ничего не оставалось делать, как задорным голосом молоть всяческую отвлекающую дребедень.

Уж и не помню, какой я там её, бедняжку, чушью развлекала, только спустя некоторое время, когда потревоженная мелкота, наконец, притаилась и затихла, мы пообвыклись и с немалым любопытством при тусклом свете лампы принялись осматриваться.

Нашим взорам предстало немудрёное Настёнино жилище: на полгорницы с чугунами-ухватами печка, напротив – Божья долонь – повидавший виды дубовый стол. Несколько покрытых густым слоем пыли табуреток, да под окнами – такие же чумазы, с порушенными мышами-молью домоткаными полавочниками, скамьи.

Выпалили поярче фитиль. В свете лампы на изъеденной «шашалом» полке проявилась куча мала всяческого посуда, незамысловатого, но без которого в хозяйстве ни за какие ковриж-



ки не обойтись. Раскружавленные паутиной, припудренные не одним слоем пыли, давным-давно впавшие в беспамятство, подрёмывали глиняные кубаны и махотки, присоседившись к ним, дотягивали свой век бутылки и склянки какого-то удивительного – буро-карего стекла. За годы горького сиротства в них выстоялась такая гремучая смесь, что теперь уже опасно было приоткрывать с них крышки, вытыкать из их ядовитых горлышек пробки.

На довольно большом полотне – пять вершков в ширину, пять в высоту, – что примостилось меж лицевых окон на заплесневелой, с осыпавшейся штукатуркой стене, под расшитым дробненьким крестиком полотенцем неожиданно совершенно явственно просматривалась моложавая женщина незаурядной красоты.

Прозеленилось полотенце, изничтожилась рама, но лицо красавицы – а в ней без особого труда была узнаваема сама Настёна – не только не облиняло, не покоробилось временем, наоборот! – из-за её пронзительного взгляда казалось живым.

И неудивительно было бы, если бы отродясь задиристая и своенравная Настёна, тряхнув своими дивными, длиннющими до плеч, янтарными серёжками вдруг с укором вымолвила: «Ну? И чего припёрлись-то? Чего без спросу по чужим хатам шастаете?»

Её пронзительный взгляд манил и притягивал, правда, в то же время какой-то пронизывающе-холодный блеск его заставлял отступить как можно дальше. И ещё! Что за чертовщина? Хозяйка избы безотрывно следила за нашими перемещениями вдоль избы. Куда бы ни отступились мы от портрета,



Настёна вослед нам устремляла свои пылающие глаза, стараясь не упустить нас из виду ни на минуту. И правда, влипли!

А тут ещё половицы! Словно живые, они, шаг в сторону – зашевелились, ещё шаг – и застонут, заголосят впричёты. По стенам зашныряли какие-то лохматые, безобразные тени. В кишащих замогильным мраком углах снова кто-то зашуршал, зашушукался и заперепискивался, всё настырнее давая знать, что мы не одни, всё лише желая показать нам, пришлым, кто в Настёниной хате хозяин.

За окнами ещё полчаса назад ясное пролетье, не предвещавшее никаких напастей, отчего-то вдруг накуксилось, и ни с того ни с сего, в мгновение ока, захолустное подворье ухнуло в беспросветную, кромешную ночь.

То ли рыкнув от привкушения чего-то, ею давно поджидаемого, то ли злобно хохотнув, тяжело дыша, ослабилась, клацнула запором, словно зубами проголодавшаяся хищница, сырая щербатая дверь. Подтягивая, поддакивая ей, заподпрыгивали, задрезжали на полках миски-плошки.

Жутью, кладбищенской погibelью, могильными пропастями в отсветах керосинки почудились бездонные оконные глазницы. За ними пластался ветер. Непогодь на всю ширь развернула свои воронёные крыла. Сквозь провалы в чердаке, навзрыд, словно по кому-то очень родному, надрываясь, голосил дождь.

Женского терпежу больше не хватало, как говорится: пора делать ноги. Ой, как пора-а!

Но то ли любопытство взяло верх, то ли что-то не подвластное человеческой воле удерживало нас в этой «нечистой»



хатёнке, не позволяло покинуть её до тех пор, покуда не поведа-ет она, уставшая от своих тайн, столько лет в одиночку храни-мые ею от всех на свете Настёнины секреты.

Плеснув из керосинки на будто для нас сложенные в печи поленья, разожгли огонь.

Может, оттого, что мы, вопреки окружавшим нас стра-стям, не сбежали, стены хижины заиграли тёплыми отблеска-ми, на подворье так же внезапно, как и началась круговерть, объявилось затишье.

Покуда я хлопотала у печи, дочь, тоже потихоньку успо-коившись, принялась обследовать Настёнино жильё. К сожале-нию, ничего примечательного, что могло бы пополнить нашу коллекцию старинных вещей, не обнаружилось.

И только под самый конец, обследовав сантиметр за сан-тиметром избёнку, когда перевернули содержимое огромного кованого сундука: не про будний день изукрашенные ризелье занавески и скатёрки, ненадёванные подшалки, штапельные да ситцевые отрезы, а когда добрались до самого донного доньшка, всё-таки повезло! Да ещё как! В потаённом месте, под кучей всяче-ского скарба, Настёна, как мы и надеялись, зная «бабские похорон-ки», в крошечном «вузелочке» сберегала самое дорогое её сердцу.

Души наши распирало от любопытства: что же может на-ходиться в этом любовно расшитом диковинным орнаментом платочке?

Развязали и ахнули: «Да это те же самые «антарки», в ко-торых Настёна красуется на портрете! Да-да! Вот на левой се-рёжке не достаёт на свисающем до плеч полукружье камешка – самой малой капельки».



Женщины во все века остаются женщинами, а значит, модницами-нарядницами. Ну, какую не соблазнит примерить или хотя бы приложить к ушкам такое старинное диво? Под-несла их дочка к огню, как же загорелись в серёжках, излучая мягкий, ласковый свет, окатные янтари, какими переливами за-переливались налитанные солнцем, drobные – с горошину – и крупные – с лещинку – камешки.

Обрадованная находкой, кинулась Аня к зеркалу. Толь-ко поднесла серёжку к уху, глядь, а из растрескавшегося, рас-кружавленного паутиной зеркала смотрит на неё, усмехается Настёна. Не успела дочка ойкнуть, как та, чётко-чётко, будто и впрямь стояла напротив, вымолвила: «Не смей! Триста лет, как мои это антарки!» Аня с перепугу на том же месте и выронила серёжки из рук.

И тут же легчайшая тень метнулась к дверям, послыша-лось, как в сенях кто-то горько да жалобливо всхлипнул. И только всё стихло, как заходили вдруг ходуном, засотрясались стены хаты, западали порушенные потолочные балки. Изба На-стёны по чьей-то неведомой воле принялась рушиться у нас на глазах.

Спохватившись, не до «антарок», мы – ноги в руки – и, не помня себя, вылетели за ворота Настёниного двора. Опроме-тью – домой, двери – на чепок. Нашарохала нас Настёна – трое суток слова вымолвить не могли.

Не скоро, правда, но когда страсти-мордасти от наше-го гостенья в «нечистой» избе поулеглись, припомнилось как бы вдруг, что на Кривом урынке, на самом краю деревни, до-коратывает свои немалые годики тётка Луша. Настёна, вроде,





будучи на этом свете, завсегда с ней роднилась. Правда, тётка Лушка не очень-то к ней тянулась. Может, жаба душила рябую Лушку? Сродственница-то, на зависть всем, – сказочной красоты, прям-таки Василиса Прекрасная.

И решили мы попроведать ту тётку Лушу. Вдруг что о «живом» Настёнкином портрете знает? Заодно, может, что и о её житье-бытье прояснится. А чтоб умаслить старушку, прикупили в сельпо для неё расцветастый подшалок. Хоть и одной ногой Луша рядышком с Настёной уже стоит, а прихорохориться всё ещё любит по-прежнему. Как сама про то говорит: «Бабское отродье! Куды ж от тряпишного соблазну деваться?»

Приняла, значит, наше подношение тётка Луша с превеликим удовольствием. Справилась, конечно, за какие-такие дела отдариваемся. А как прознала, о чём любопытничаем, так язык её сам собой и развязался, удержи нет.

И поведала нам старушка без утайки, а может, по вине немалых своих годиков по большей части и приврала, всё, что могла, о своей «сроднице».

Вечера-то в Ранетовке под Петровки ласковые, а ночи тихие, задумчивые. Присели на крылечные порожки и слушали тёткины рассказы до глубокой полуночи.

А начала она издалека, потому как Настёнина тайна пряталась в глубине веков: мол, сказывала Луше её бабка, что ещё при государыне Екатерине, годах эдак в шестидесятых, случился в Ранетовке, которую проиграл в карты помещик Кузяков старшему Шебаршину, случай, в котором не последнюю роль сыграла Лушина пращурка, дворовая девка Настёна Ивашкина.

– Господь не поскупился, одарил ту самую Настёну со всей щедростью. Мало того, что в молодые лета слыла она на пять деревень в округе первой красавицей, так была ещё затейливой сказительницей. Уж у кого она это переняла, от кого этой дели наострилась: от матушки ли своей, от тётки ли какой, кто ж теперь про то ведаёт?

А только прознал о крепостной своей девке Настёнке, о побасках её складных молодой барин Шебаршин. В ту пору был он в самом цвету. Проживал всё больше по чужедальним краям, по Хранциям-Ерманиям. А тут, на девичью беду, затомновал скиталец (а то, поди, не затоскуешь? – пять годочков в своей Ранетовке глаз не казал!) и прикатил к батюшке в усадьбу, на побывку, значит.

Ну, приехал и приехал. Где он и где дворня-то?.. Но только, поговаривали, была у молодого ранетовского барина заковыка – любил всяческую небывальщину слушать да записывать. Сколько под то бумаги извё-ёл! И из заграниции цельный сундук тех-то выдумок привёз. Вот батюшка-то его, старый барин, возьми да и похвастай: мол, да моя девка Настёнка за пояс заткнёт любого твоего рассказчика.

Дальше больше... Дошёл их спор уж и до того, что коли признает молодой барин, послушав девицу, что она превзошла своими рассказами иноземцев, так побился он об заклад, из имения своего он больше ни ногой. Старому барину это ой как по нраву!

Тётка Луша сказывает, словно кружева плетёт, видать, вся в прабабку удалась. А потому веришь ей на слово, хоть заведомо знаешь: по большей части из того, что накрутила она о своей

далёкой прашурке, – сказки-выдумки, за-ради красного словца. Веришь, не веришь, и вдруг прикинешь: а что ж тут небывалое? Покопаться, так, поди, в каждом имении сыскалась бы не одна подобная девичья судьбинushка.

Ведёт Лукерья свой толк про старину стародавнюю, а сама, правда, не забывает посматривать, не чередит, не озорует ли в каком углу на подворье или в саду шкодная ребятня. Ни один Солнцекараул без того, наверно, ещё со времён её прашурки Настёны не обходился.

– Ну и вот... Кликнули, значит, Настёнку: поври-ка, мол, девица, всласть, – распаляет тётка интерес, – приделась она, конечно, всё ж таки не у себя по двору, по господским залам ступать, и к урочному часу явилась, куды велено.

Уж какие-растакие небылицы неделю к ряду плела им девушка, только барин молодой о своих Хранциях и помнить позабыл. Пря-таки обалдел от Насти, от голоса её певучего, от стана перегибистого. Правда ли, нет ли, только сказывали: положил молодой Шебаршин на неё глаз, влип, значит, по самый хоботок. Души в ней не чаял. Даже потрет своей дворовой девки заезжему художнику заказал. И на День Ангела подарил. Ну, дак вы наверняка его в засиротевшей хате видели. Пуще глазу берегли энтот потрет в Настёнкином семействе. Переходя от бабки к бабке, так и довисел он в простой деревенской избе и до наших дней.

Дак и продолжу, значит... Что разнесчастной делать, куды кидаться? Крепостная девка – не вольная птаха. А надобно сказать, стукнуло ей по тому времени семнадцать годочков. Самая невеста. И женихов вкруг ей, что шмелей на июньских клеверах,

– улыбнулась тётка Луша, – но сердечушко девичье – попробуй ему прикажи! – ёкало лишь при встрече с пастухом Прохором.

Время шло. Барин не отступался, а промеж Насти да Прохора вызрела любовь нешутошная. Уж и деревня про то прознала, рази ж от людских глаз сокроешься? А как стало Настеньке вовсе невтерпёж от барских приставаний, скрепилась она духом да бухнулась в ноги молодой жене его: мол, так и так, смилуйся, госпожа, не дозволяй Кузьме Лексеичу, законному супружнику вашему, надругаться над девичьей невинностью.

Барыньке, – что ей до Настёны? – о себе впору печаловаться, – по всему видать, и впрямь заболел молодой муженёк её, променял свою барыньку благородную на простушку, девку подневольную. Вот и уговорила она свёкра своёго, старого барина Лексея Никандрыча, выдать поскорей девицу замуж. За кого? Да хочь за вдового кузнеца Ерёмку. Благо, что бездетного.

С девкой порешили, а как быть с её любушкой Прошкой? А тут и говорить не об чем! И забрили Прохора во солдаты. Это нынче не успел парень за ружо подержаться – уж и в обратку сбирайся. А раньше-то – шутка ли дело? – расставанье ажни на двадцать пять годочков! Попробуй дождись... Бабий век, знамо дело, – что маков цвет, и налюбиться не успеешь, глядь, уж осыпался. Да-а-а... А поту пору, сказывали, забунтовал мужиков по Руси какой-то лихой казак Пугач. Вот и попал солдат Прошка под его сабельку острую.

Как уж там случилось, но долетела всё ж таки весточка об его гибели и до нашей Ранетовки. Жалковала по парню родня, а пуще всех убивалась разнесчастливая Настёна. Видано ли, сколько бедствияв разом навалилось на её головушку: и любушки во-



век не воротить, и барин Алексей Никандрыч, чтобы потрафить невестушке, стоит на своём, упёрся: мол, на Покров венчаться Настёне с Ерёмой. Молодой-то барин, по правде сказать, чуть разуму с тоски не лишился. Имея к Настёне свой антирес, пробова́л было за неё вступиться, да куды-ы там!

А горемышная девица, хочь и знала, что грех неотмолимый, а только невыносимо тошен стал ей белый свет, дак она, горлинка, и в моток сигала, и всякими другими-разными приспособленьями пыталась лишить себя растреклятой своей жистюшки. Но, как говорится: кому утопиться, тот не повесится. Знать, была Настёнка у Господа за любовь свою неизбывную на каком-то особливом счету, не дозволил он с девицей смертной смертушке приключиться.

Как не пытались мы вывести у Луши о дальнейшей судьбе её древней сродницы, так толком ничего и не разузнали.

Но в подтверждение тому, что всё тайное когда-то да становится явным, вот какой удивительный сон приснился мне в годовщину Настёниной смерти под Ивана Купалу. Верить ли ему? Нет ли? Только сердцем чую: сама Настёна решилась, наконец, приоткрыть завесу над её удивительной судьбой, поведать, чем однажды в её распостылой жизни обернулась случайная встреча.

И видится мне: будто прохожу я летним вечером мимо Настёниной хаты на ключ за водой. Смотрю: стоит, опершись на калитку молодая, в самом цвету, словно только что с портрета сошла, Настёна. Нарядная, подшалок цветастый по плечам раскинула, в ушках «антарки» поколыхиваются, в вечерней заре переблёскивают.



Окликнула меня Настёна, калитку распахнула, к себе манит.

– Заходи, суседушка, слышала: книжки писать навострилась. А хочешь, я тебе поисповедуюсь, судьбину свою, всю, как есть, как на духу раскрою.

Меня даже оторопь взяла: с чего бы Настёна так расщедрилась, тайну тайн свою вдруг за просто так выложила?

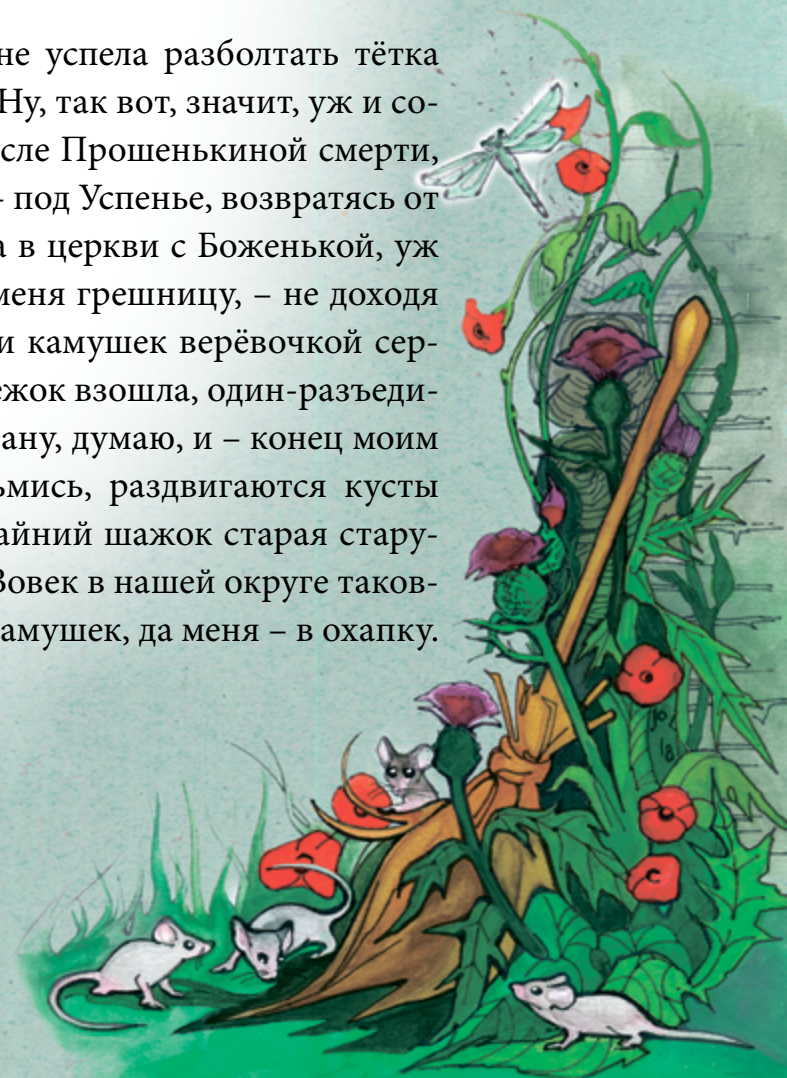
А Настёнка, будто мысли мои читает, ожгла меня своим пронзительным взглядом, улыбается, знает наверняка, что не смогу не согласиться.

– Только обещай, что пропишешь потом обо мне в какой-нибудь книжке. По рукам?

Как я могла отказаться? Коромысло и ведёрки – в подорожники, сама в слух обратилась.

Присели мы в саду под яблонькой, и повела соседка такой сказ.

– Знаю, знаю, кое-что обо мне успела разболтать тётка Луша. Только не всё ей мне ведомо. Ну, так вот, значит, уж и совсем, было, помрачилась я умом после Прошенькиной смерти, – повела своё откровение Настёна, – под Успенье, возвратясь от обедни – уж я толковала, толковала в церкви с Боженькой, уж просила-молила понять, простить меня грешницу, – не доходя до избы, повернула на омуток. Уж и камушек верёвочкой сермяжной обвязала, уж и на крут бережок взошла, один-разъединный шажочек осталось ступить, сигану, думаю, и – конец моим мучениям. Но тут, откуда ни возмись, раздвигаются кусты краснотала, и заступает мне тот крайний шажок старая старушонка. Пригляделась: что за диво? Вовек в нашей округе таковой не видывала. А она – хватъ за камушек, да меня – в охапку.



– Это что ж ты, такая-разедакая, удумала? – бранится бабка, а сама – боком-боком оттирает меня подале от крутояра.

– Ох, и не вмоготу мне, баушка, опостылел белый свет, пусти свершить, что уздумала, – Христом Богом прошу я старуху, а сама рвусь-кидаюсь к обрыву.

Никак ей, маленькой-горбатенькой, не справиться со мной. Вынула она тогда из своих когда-то жуковых, а теперь уже осыпанных густым инеем волос частый терновый гребень и, не спросясь, воткнула его чуть повыше моего накосника.

Тут я, на удивление, вырывать-биться перестала, а как маленько поутихла, всю беду-горе спасительнице своей и выплакала: так, мол, и так, нет мне жисти, родная, теперя без Прощеньки, истерзалось сердечушко от одной мысли, что пойду под венец с разнелюбым.

– Рази ж это горе? – ухмыльнулась бабка, – не печалуйся, детонька, руками твою беду разведу, не успеешь и глазом моргнуть. Давай-ка присядем, покумекаем, глядишь, чего-нитого и распридумаем.

И снимает старая с плеча котомочку. Вытряхивает из неё всяко-разное бабское на подол, покопавшись, отыскивает крошечный вузлячок. Развязывает его и подаёт мне на ладони пару красивущих серёг. У меня ажни дух захватило! Вовек я таких не видывала. Были, конечно, у нашей ранетовской молодой барыньки и какие-никакие, а только таких дивных даже она не видывала!

– Баушка родненькая, – заотпихивалась было я, – мне ведь и отплатить тебе нечем.



– А ничего мне с тебя и не надобно, – шамкает старушонка, – рази что, будь ласкова, проводи меня до росстаней, поднеси мою котомочку.

Зашвырнула я свой горюч-камень в лозняки, серьги-«антарки» – в ушки, и потопали мы на парочку лужком да на горушку, с горушки опять лужком. Идём себе помаленечку, бабулька-то дряхленькая, впору уж и с печи не слезать.

Покуда пожнями да покосами брели, всю жистюшку наперед раскрыла она мне перед глазами, словно карты раскинула.

– Носи, милая, мой подарочек, ни днём, ни ночью не сымай. Пока «антарки» будут при тебе, будешь ты хозяйкой своей судьбы и никто и никогда не выдаст тебя за нелюбимого. Несчётные годы будут опадать, как листва по осени, а ты будешь всегда оставаться красивой и молодой. А жить ты на этом свете будешь до тех пор, покуда не сыщешь для себя человека по сердцу, пока не родишь от него деток, пока не вынянчишь от них внуков, – молвила бабушка на прощание. Обежала вокруг лесковочки, что у нас кой годочек кормит путников на росстанях, глядь, а уж и не старушка это вовсе – птичка-перепёлочка! Нырь во ржи – и была такова.

– Ух ты! Вот так история, – ахнула я, – а дальше, дальше-то что?

– А и ничего особенного, скажу я тебе, рассоседушка, не случилось. Века протекали чередой, красота же моя не вяла. И никому в деревне было невдомёк, сколько же мне, такой красавице, на самом деле от роду. Помыкалась я, помыкалась на этом свете, всё пыталась сыскать своего суженого. Только, знать, один-разъединый разочек даётся человеку настоящая любовь.





Остальное всё так, прилюбочки. Я-то ведь после Прошеньки и взглянуть на кого другого так и не взглянула... А как разуверилась в своих поисках окончательно, как поняла, что никогда уже не встретить мне свою распропащую любовь, устала я маяться без своей половиночки, вынула из ушей баушкины «антарки» да за ненадобностью и запрятала их на самое донце сундука.

– А ведь правду говоришь, Настёна! Собственными глазами видела я в твоей хате те волшебные серёжки! – не стерпела, вскричала я... тут и проснулась.

Но на этом Настёнина история не закончилась. На другой день прохожу опять по какому-то делу мимо порушенного Настёниного подворья. Вижу: кружит над ним сизая горlinka, заметила меня, и, словно нарочно, низёхонько так проплыла надо мной. Присмотрелась я: а в клюве-то у неё – Настёнины «антарки». Удостоверилась горlinka, что увидела я её находку, и – прямиком-прямиком в сторону села.

Где обронит она волшебные серёжки? Кто их сыщёт? Кому ещё посулят они встретить нешуточную любовь?



Комментарии

Лучшие стихов Татьяна Грибановой может быть только её проза. И ещё – фотографии. А всё это собирает и дарит нам в светлую радость её душа. По-русски кланяюсь за духовность её творчества, по-офицерски преклоняюсь перед её женственностью, по-писательски радуюсь такому чистому звонкому роднику с живой водой! Радости встречи от соприкосновения с исконно-народным мастером Слова.

Николай Иванов (Москва)

Вот как надо-то русскому человеку для русского же слушателя да по-русски-то рассказывать!!! Безо всякого «экзистенциального» «истеблишмента» и прочего «забугорного» словесного мусора! Ай да автор! Ай да любо на душе-то от услышанного да прочитанного!

Сергей Кириллов (Архангельск)

Что это было?! Не помню, чтобы хоть одна русская писательница поднимала на такую небесную высоту отечественную прозу. Каждая фраза, омытая живой водою, блистает как те антарктики из рассказа, скромно названного быличкой. Прямо хоть художественный фильм снимай. Но нет в России сегодня равного по таланту Татьяне Грибановой русского режиссёра. Когда-нибудь, может, и появится. Тогда и порадует народ картиной. А Татьяна Грибанова уже порадовала.

Владимир Подлузский (Сыктывкар)

Татьяна Грибанова стала лауреатом журнала Берега за 2017 год в номинации «Проза». Новый рассказ говорит о Вас, дорогая Татьяна, как о блестящем, отечествосберегающем авторе современности. Горжусь Вами. Ваш стиль, язык, метафоричность говорят о Вас, как о сложившемся прозаике. Вы раскрываете дух русского человека, пробуждаете чувства у лишенных света

Лидия Довыденко (Калининград)



Прекрасная русская проза! Какой замечательный слог у Татьяны!-- одно слово за другое цепляется, а слово-то настоящее, вкусное, к классике отсылающее, к великим мастерам русского слова... Прочтешь -- и светлее на душе делается в этот хмурый день... Блеск!!!

Анатолий Аврутин (Минск)

Какой удивительный слог у Татьяны Грибановой:

«И стала я примечать: засиротевшая хата с каждым годом всё лише приседает в лопушняк. Нынешним летом дошло уже до того, что пронырливый репей пролез сквозь проевшиеся крылечные половицы и пустился в цвет, а вдоль крыши, меж обвалившихся стропил, ему вдогонку выколосился дурнопьян»... Такую прозу не пробежишь взглядом наискосок, торопливо схватывая содержание -- здесь вчитываться нужно не только в каждую фразу, в каждое слово -- прекрасное родниковое русское слово, которое по нынешним временам встречается, к сожалению, все реже... уникальный дар!

Татьяна Жилинская (Минск)

Была у меня в детстве книга «Русские народные сказки», читанная-перечитанная на сто рядов, затёртая и любимая... Читала «Антарктики» - и, как в детстве от сказок, дух перехватывало - и грустно, и страшно, и любопытно, и хорошего чудесного конца ждёшь, чтоб всё уладилось с Божьей помощью... И пусть все современные реалии подождут, пока играет на солнышке тёплым январным блеском старинная быль-небылица, плетётся кружево из слов на манер русских мастериц-искусниц...Будто в гостях у сказки побывала.

Светлана Курач (Омск)

Словотворчество Татьяны Грибановой , как песни Руслановой, как частушки Мордасовой. В ее рассказах сердечность и искренность, точность интонаций.И девичья радость жизни,легкое дыхание, которое бывает только от любви.

Василий Воронов (Ростов)



Литературно-художественное издание

6+



Татьяна Ивановна Грибанова
Настёнины «антарки»

Быличка

Художник – Юлия Тютюнова

Подписано в печать 07.02.2019. Формат 84x108/16
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Minion Pro
5,5 усл. печ. л. Тираж ??? экз. Заказ № 89

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru